



Анатолий Жариков

В четыре руки

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

Анатолий Жариков

В четыре руки

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=40259969

SelfPub; 2020

Аннотация

Книга катренов. Строка может протекать и двумя-тремя стихами, однако ритмически и рифмами она всё равно выдаёт себя как одностиховое действо, и в целом четверостишие – для нетерпеливых людей стремительного века. Содержит нецензурную брань.

Содержание

Стихи	8
Великорусское	9
Борис Пастернак	11
Интершарм	25
Зачавшая	27
Солдат и смерть	32
Перевожу Красимира Георгиева	33
Шарль Бодлер. Признание	34
Артюр Рембо. Возвращение	35
Александр Ревичу. Сотворение	37
Октябрь	38
Зима Рильке	41
Древний мудрец	42
Уроки русского	44
Ночные бабочки	45
Марина Цветаева. Проявление	48
Конец ознакомительного фрагмента.	52

В тёмно-синем крыле воронья утонула озимь,
тёмно-серым дождём в окошко стучится беда,
в тёмно-грязных разводах на улицах скользких вода;
снятся нищие, неба просят.

Одним объаты одеялом,
крыло к крылу стрижами ввысь.
И все движенья повторял их
попарно сложенный сервиз.

У Хлебникова вывернутый дар,
как наволочка звонкая до дыр;
в стихах, как в перьях.
Словно в птичий мир
исчез, Божественное пробормотав.

Завис, зимы последний свидетель,
лист – ветошью грязной в обнове –
вцепился в ветку и держится еле,
как жизнь, прожитая на честном слове.

А время ужато
до чёрточки малой,
связующей даты
рожденья и славы.

Открыт и падает на землю небосвод,
и звёзд парадный строй нарушен.
Бог наигрался, кончился завод.
Большой ребёнок, собери игрушки...

Холодно. Бессмысленно. Дышать
нечем. На века зевота.
Что-то делать. Что-нибудь решать.
Жить и умирать за что-то.

День длится вширь и вдаль очей твоих светлее.
И ночь пустынее твоих спокойных уст.
Я за себя ещё сказать успею,
я за тебя в молитвах отшучусь.

Долгий вечер, дальний вечер.

Тёплая, как солнце, пыль в горсти,
тихий шёпот: "Господи, прости
человеку человечье..."

Как волчата под звёздным именем мы.
И лелеет нас тёмной лаской
то ли Бог, не имеющий имени,
то ли имя под божьей маской.

В великой суете сует
у нас, родства не помня, с Вами –
два-три кивка за столько лет...
Как будто вечность перед нами.

Но смолкой пахнет свежевыструганная
доска,
не в мой затылок гвозди и не я
пока...

Из хаты, озабоченно смел, –
руки поглубже в карманы, как в ножны мечи,
шапку на уши-глаза, сердце на стрём, болтанки лишив-

ши, —

выйду.

Фёдор Михайлович, спите спокойно: всё тот беспредел
и в книгах, и в жизни.

_____о_____

_____♪_____

Те звуки-исполины, крылья-звуки,
освобождение божественного духа.
Токката, ре-минор величественной фуги,
тоска счастливая, когда мы были звуки.

СТИХИ

Не бледной кистью натюрморт,
не запах жареного сала,
а непрерывный небосвод,
как молоко, что убежало.

Ребёнок, тяготящийся отвагой, –
сквозь щели полумрак и любопытство страха:
стол, Библия, кассета Баха,
лист недописанный мертвеющей бумаги.

Великорусское

И душа сквозна,
и рука нежна.
Хочешь лени – на!
Хочешь стали – на!

Возмужали, стали мудростью, молчанием речисты.
Осень. Листья, как и в оны годы, ах, какие листья!
Осень, как и в оны годы, золотая. Грустно.
На скамье, что в Царскосельском парке, пусто.

Уже воспоминанья тень –
не часто, не отчётливо, не смело:
свет глаз не ярче света тела.
Был вечер. Было утро. Первый день.

Есть радость тайная в звенящем слове *есть*,
и в слове *нет* живёт кузнечик жизни.
И жизнь сплошная тайна есть.
И смерть, всего одна разгадка жизни.

И глаз твоих небесная усталость,
и рук моих несдержанность; пока
как будто жизнь ещё не начиналась
в замесе дивном: света и песка.

Сучья жизнь, но все живём под Богом,
кто в ладошку, кто в платок.
Осознав, где Бог и где порог,
ухожу в винительном с предложом.

Борис Пастернак

Столько лба, что места
на Сенатской площади.
И в зрачках судьба.
И лицо породистой лошади.

По лужам ласточкой раскрытою скользит,
во взгляде влажный блеск, зовущая истома.
В её руках парящий дождевик.
Раздвоенный язык в раскатах грома.

И у виселицы последнее желание,
и у зрителя великодушие ложное.
И поэзия – крови переливание
из пустого в порожнее.

Кузнечиков шрапнель, слюда стрекоз,
запёкшиеся губы лета.
И вырастет среди травы и роз
слепое солнце мёртвого поэта.

Началась и запнулась песня
про какой-то казанский приют.
Кони лучше живут, интересней.
И другие песни поют.

Через пустыни волн, усталый пилигрим,
в тоннелях глаз сквозь пьяный дым,
печальным одиночеством храним,
родной, соборный свет: "Поговорим..."

Я из тех, потерянных по дороге,
не поднимавшихся по тревоге,
в кулачок подводивших свои итоги.
Не ищите нас, нам осталось немного.

Звёзды нас уже качали,
снова в звёздное начало?
Свет на рыльце стрекозы,
дорогой мой, Дао-цзы.

Нефть подросла в цене. Красив Париж.

В Ирак внедряют правила и фраки.
И во дворе грызутся две собаки,
и кость сладка, как на обрыве жизнь.

Твой зрачок теплеет прошлым,
а сегодня сталь стекла.
У окошка села кошка,
кошке хочется тепла.

Ощерится мёртвая пашня без лада, без края,
и встанут деревья толпою без края и лада,
и первые птицы вернутся из дальнего рая
в родные гнездовья ещё не забытого ада.

Разлита мгла, желток луны
с разбегу шлёпается в кадку.
И ночь до самой глубины
в смятении, в сиянье, всмятку.

Голос был, да шепоток остался,
кровь твердеет, но ещё течёт.
Если Бог и вправду просчитался,

жизнь моя – божественный просчёт.

Ночь за окном. Снег за окном. Новогодняя ёлка – хвойная ветка в узкой бутылки зелёной тоски.

Распусти мою голову да свяжи шерстяные носки, почитай-ка мне сказку про доброго серого волка.

Морозное утро. Сретенье. Тёплый свет над домами.

Деревья и длинные тени, словно волхвы с дарами.

Птица большая реет низко под облаками.

И нищенка губы греет и руки одним дыханьем.

Только трижды слепой,

трижды глухой

и немой трижды –

выживет.

Беспомощный, бесполой, ноль, сиречь,

как моль без мусора, без поцелуя губы,

пока не оживёт и не разбудит

каким-то чувством собранная речь.

Жизнь не кинула, смерть не стучалась,
скука сукою не печалилась.
Вот и день сошёл, эка малость,
не прибавилось, не убавилось.

И вода уходит,
и тепло из дома.
Пустотой года
шевелит солома.

Развалины. Сирень. Полдневный час.
Славянский шлем, кривая сабля хана.
Во фраках ласточки, синицы в сарафанах,
тьнь ворона, скользящая сквозь нас.

–Послушайте, страна, куда вы прёте,
как пятая статья Конституции?
–Я, мой херц, в Пакистан – миномёты,
леденцы – из Турции.

Ребёнок у груди, курлыки-звуки

и сверху вниз молочная река.
Чистосердечны только эти руки
и чисты только эти облака.

Стихотворчество – это человек, пляшущий
рядом с нами,
или человек, пляшущий внутри нас.
И если Уитмен пишет глазами,
то Элиот сиянием из его глаз.

Ночь коротка.
Рассвет.
С далёких звёзд
ответа нет.

В комнате без женщины и вещей поселяется эхо;
говорят, неразговорчиво оно и не отвечает на мысли.
Может быть, голос его смягчает старая пыль?
Ближе к вечеру слышу тихую продолжительность вздоха.

Он до того боялся,
что боялся обидеть ребёнка

и протыкал зажённой сигаретой
большие листья деревьев.

За тыщи лет ничего не изменилось: ровно,
клубясь идут облака небом.

И долгая тёмная очередь за гробом,
как после войны – за хлебом.

Я люблю под дождём подышать-помолчать,
я люблю, когда – снег или что ещё – свыше.

Друг мой Вася, я знаю и сам, *как* писать,
ты скажи мне, друг Вася, *зачем* мы пишем?

До сих пор страшно: смотреть в глаза,
если и они смотрят в твои – в оба.

Не страшно умереть, неудобно за-
бивать гвозди в крышку своего гроба.

Зимою солнце выйдет пару раз
из своего холодного зимовья,
и греешься случайною любовью
чужих ладоней, посторонних глаз.

Ты та же всё – придуманная мука,
всё так же сладок самый первый грех.
Стрела ещё летит, отпущенная луком,
который твёрдо держит древний грек.

Поэт ушёл. Теперь мы чьи стихи
читаем? Оборвалось время
на полуслове. Биографии штрихи,
привычки, письма, вечности, мгновенья...

Но не вечер виновен в том, что тени
стали тёмным кустом сирени,
и взгляд рассеянный, а не лучистый,
плетётся за женщиной без задней мысли.

Там, как и при жизни, всё будет просто:
решётки, и тюрьмы – свинцово,
и прежде чем повесят, распнут, спросят,
кем был и что делал до рождества Христова.

Те три-четыре метра дошагать,

доцеловать уснувшие мгновенья
и по ошибке пустотой назвать
пространство, собирающее время.

Две вещи, которых не тронет тлен,
вызывающие ужас,
уничтожающие страх:
женщина, живущая на земле,
Бог, обитающий на небесах.

Прожить сочиненьем на тему,
досеять, дожать, досмотреть,
понять эту сучью систему,
в провинции туфли стереть.

Скарлатиной загажены дни
по макушку; не сеет, не жнёт,
говорит: даже хрен воткни,
ни хрена не произрастёт.

Листья жгут. И не жаль сентября.
И тоска по чужим и родным.
Там, где стелется съёжившись дым,

это я без тебя.

И снова мутная молва,
распуганный рассвет отчизны.
Не взять и не отнять у жизни
простые, страшные слова.

И глаз твоих небесная усталость
и рук моих несдержанность; пока
как будто жизнь ещё не начиналась
из двух замесов: глины и песка.

Я не помню, иное чтоб было
в жизни, кроме этого дыр бул щыла.
Рожу вымоешь, взглянешь на мир,
то же самое: дыр бул щыл.

Ветер тёплый с реки,
вечер тих и не груб,
радость в обе руки,
кушаю сыр, крошки сыплются с губ.

Они уже там, бесследно
ушли, никому не должны,
Второй мировой последний
и первый Последней войны.

Напоследок глотнул
из гранёной бутылки
и не вышел, шагнул,
думал, выросли крылья.

Размозжена дорога, ветер злой,
знобит поля и ни души одной,
голодным хатам челюсти свело.
–Брат город Каин, где твой брат село?

Круг солнца опускается за край,
и женщина разламывает руки,
разламывая дымный каравай
земного хлеба из пшеничной муки.

Что поэзия? Прав лишение

жизни жившего против правил.
Плохо пишут красивые женщины,
некрасивые слишком правильно.

Всё – нищета и кровь,
и путь наш адов
в лжеобещаньях *-ов*
и в лицемерье *-атов*.

Ничего не останется, слово
сморщится, имя забудет слава.
Солнце снова с востока, словно
ничего не случилось с нами.

И день не заберёт, не даст,
и ночи не дано её измерить,
создать такое можно только раз,
не зная самому, что с этим делать.

От жажды умирали над ручьём,
тянули нескончаемую требу,
кривили губы чёрные: "За що?"
и не было руки делить семь хлебов.

Ах, Дементьев, что за сила!
Даже моль не поточила,
стихотворец, удалец,
бзнуть и пёрнуть – твой венец.

Через земную долю
никому скажу:
–Ухожу. Анатолий.

"Приходи! – скажет никто, –
Анатолий.
Отведу от боли".

Всё вышептал, осталась от гвоздя
дыра, от подошвы лишь радость
скольжения, но слово “рай” здесь
сказать мне некому, отсюда исходя.

...И однажды выиграет Время,
т.е. Вещь уйдёт, придёт Явление.
Это все предчувствуют вот так:

ТИК-ТАК, ТИК, ТАК...

Что на дворе весна
и что это не ложь,
о переплёт окна
ГОТОВ ПОБИТЬСЯ ДОЖДЬ.

Не свечная, какая есть,
дармовая, от бытия,
среднечеловеческая – 36,6,
но у каждой подмышки – своя.

Сергею Мнацаканяну

Что молитвы, поздние стихи,
дни просты, желания убоги.
Все удачи – наши, все грехи
отсылаем Богу.

Интершарм

Не в аду, но в зрачках искрит, – где-то рядом,
не в раю, расскажите о нём, Бога ради!
Только Слово рассыпалось буквами по тетради,
и язык сшивает страницы: Ва-си-ли-а-ди...

"Я хочу видеть Бога", – сказал я.
"Тогда ты должен умереть", – сказали мне.
"Тогда пусть Бог увидит меня", – сказал я.
И Бог умер.

Облако, что ладейка,
клёвый окурок, скамейка,
красные, тёплые рожи,
снится одно и то же.

Аллея, силуэт, скамья
в вечернем свете, силуэта
всё меньше в оном, горстка света,
апчхи с небес небытия.

А у меня как зрителя
к истории вопрос.
Что без креста Спаситель?
Что без чудес Христос?

Зачавшая

Был выражен вид сбоку,
твой бесконечный живот
был круче бога
и праха вечного от.

Сижу под храмом, ворую с неба,
ни крыши, ни сна,
убогому слово, птице хлеба,
звезда горит, стихи пишутся.

Три обалдевших месяца лета,
тёмный мёд, золотые лещи,
и совершенство тепла заметней
несовершенства молитвы души.

Сокровищу

Строк высоких мастерица,
ты ли ветка, ты ли птица?
Слову вся, как пряжа спице,
отдалась, ему простится...

Мир был мирен, сыт, владел веками,
свет мелькнул, и разошёлся камень,
в плоть вошла, темня, кровавая рану,
первая строка от Иоанна.

Летом ночи тихие, длинные,
били больно и до рассвета,
в нашем городе нет бога,
в нашем городе нет поэта.

Жизнь коротка,
но бесконечна смерть,
искусство надобно,
чтоб умереть уметь.

Тысячелетья прививка кротости,
и привилось,
рука, влюблённая в жизнь и стих,
палачу подаёт гвоздь.

Вот и выздоровели, кажись,
ты, с карбованцем в кармане,
врач, с голодными глазами,
продолжайся, жизнь.

Голой улицы жуть,
ветер, мокрые листья,
душу булавкой проткнуть,
повесить сушиться.

Но мы живём, пока душа и тело,
посуду перебив, гуляют в лес,
да воет ветер, моросит с небес,
да прелести всё те же на прицеле.

На кой нам эти перемены,
не надо перемен.
Когда гуашь течёт по венам,
не рвите вен.

Иуда предал, Пётр не то сказал,
ну, это ясно, как и всё на свете.

Того ж, кто к нам вернуться обещал,
возможно только посылать за смертью...

А на них и держатся державы,
не гниют, не сыплются на крошево,
из плохой страны не уезжают
дураки, поэты и философы.

Звук металлический из уст жены Тамары,
звук, непонятно чей, в моих мозгах,
трёхдневные тюльпаны в стаканáх,
как знаки ладной жизни данной пары.

"Я было Духом", – так сказала Тело.
"А я был Телом", – отозвался Дух.
За тем, кто мог из ветра деньги делать,
таскал Иуда с золотом сундук.

Начну с того, что обозначу тень
совка у мусоропровода,
и к вечеру переведу свой день
довольно скверным переводом.

Он сразу призрак времени
смазал экономного дня,
и отомстила быта фигня
ему.

Уже набравшись неба сини,
мир незаметно входит в лето,
войду в игру углов и линий
и выйду где-то...

И взываю к тебе без конца:
"Боже, свет – без просвета картина,
в каждой мысли безумье кольца,
в каждом чувстве тоска карантина".

Что будешь делать, мать Мария?
Иисус распят, Иуда мёртв.
Иди через века в Россию.
Ответила: "Иду". Идёт...

Солдат и смерть

В глазах – томленья тяжесть, туга,
в глазах бессмертия печать.
Так близко видели друг друга,
что перестали – замечать.

Мёрзнут лужи, коченеет мозг,
опадает краска с алых роз.
Стая псов. Рассвет из серебра.
Осень. Сумасшедшая пора.

Перевожу Красимира Георгиева

Совесь чернил в чернильнице.

Чем писать? Карандаш.

Тушь для зрачков. Свинец.

Стих Красимира.

А под окном, и зол, и весел,
на грани день опошлить риска

среди сиреневого визга
грассирует восточный ветер.

...И пока выдыхаем во снах
серу ада и солнце рая,

ты за всех опускаешься на
две коленки и слово лаешь.

Шарль Бодлер. Признание

Женщина, стерва, блудница, безумная дрянь!
Я ненавижу тебя, замечаю едва.
Вот Вам нелепый горшок, вчера распустилась герань.
Плечи закройте, горячечный сон божества...

Заштатный город, осень, небо, грустно,
кофейня, церковь, магазин, тюрьма,
всё, гражданин, для сердца и ума,
и слишком человеческого чувства.

Артур Рембо. Возвращение

Меж лобных складок тихая печаль,
спокойна гавань, одинокий причал,
две-три волны ленивых для ума,
безветренно и в городе чума.

Ей, Елене Бессоновой

Как спицы, улетают строчки,
как строчки, отлетают спицы.
—Где падать? Где остановиться,
Елена?
—Прочерк...

С безуминкой в зобу, чернитель слов,
друг мудаков, поэтов и злодеев,
растасканный и гением, и геем,
Сергунька, Серж, Серёжа Чудаков.

На пенсии, карманная чахотка,
спасибо, партия, встречаю юбилей.
Сам-сём, стакан, страна, бутылка сраной водки

и в небе тройка белых голубей.

Александр Ревичу. Сотворение

Я твердью, влагой был, звездою,
менял обличья, набирался сил,
затем два дня я был самим собою.
И только на восьмом заговорил.

Двадцать первый, красные рожи,
покрывая любовью всех,
замерзает на мусорном ложе
Достоевского всечеловек.

Октябрь

Листва ещё сознанием живёт,
колышет ветер гребни ирокезов
и в луже птичьей дали антитеза,
и, как у Крёза, полон солнца рот.

–Нет ли билетика лишнего?
Съели билетики.
У смерти не выпросишь жизни,
у жизни смерти.

Стол, стул, стакан, хлеб да селёдка,
скорбь мировая меж бровей.
Читатель ждёт уж рифму водка,
я наливаю, пей скорей!

Да будь хоть арабом преклонных годов,
хоть солнцем, встающим с приветом,
сперва стань читателем собственных слов,
чтоб завтра проснуться поэтом.

Давай-ка, жизнь, чуток притормозим,
о свете том и сём поговорим.
И потечёт, рыдая и шурша,
в той пустоте, которая душа.

"Где же ты?" – воззвал к Адаму Бог, –
тот скрывался меж деревьев рая.
И воззвал я у земного края:
–Где ж ты, Бог?

Что, червь мой, человек?
Тебе всегда всё мало.
Смерти, бессмертия,
окурка, одеяла.

Но чьими руками был выращен райский сад?
И первые чувства придумали первые сами ли?
И кто-то, за деревом прячась, печалил свой взгляд
во имя Адама и Евы и Падшего Ангела.

Вот и дождик прошёл,

вот и память вернулась опять.
Если нет ничего за душой,
зачем умирать?

Рай заселялся,
и первым был фраер с креста,
с лёгкой подачи Христа
нарисовался.

Зима Рильке

Сорвётся старым снегом с крыш домов,
в седой горячке на тропе забьётся.
Наестся мёртвых яблок и вернётся
остановить сознание часов.

Отпущу журавля в небо,
на ветку птицу,
напишут на сайте: “Не было
такого автора” или:
"Автор закрыл страницу".

Синий снег, тишина, воскресенье,
хорошо до отчаянья,
ни луча под небом, ни под богом тени
не сотрёшь, ибо нет случайного.

Древний мудрец

Ему снился сон, в котором
бабочке снился Чжоу,
которому снилась бабочка,
наколотая на булавку.

Забавен в начале
и страшен в итоге
придумавший женщину,
собственность, бога.

Любовь и вздохи на скамейке,
и (да!) прогулки при луне –
не труд до гроба на узкоколейке,
не жизнь без жизни на гнилой спине.

Слушаем воду, ветер, стих,
шёпот времён.
С точки зрения вечности,
мы не уходим –
идём.

Бойся женщины с красным носом,
мужичка с голубым глазком,
воскрешения слова "партком"
и сопливых микробов мороза.

Как января серебряная тень,
как память Пушкину у школы,
как самый первый
в самый первый день,
в последний самый стану – голым.

Уроки русского

Я не проснусь от слов на франсе или англише,
не гнусавь, дорогая, и не томи,
я не пойму откровенное *гоу ту ми*,
разорви мои вены спокойным "подвинься поближе..."

Стихи без ух ты! не стихи,
как будто кама – но без сутры.
Поэт, отмалчивай грехи
или пиши, но только – с ух ты!

На родине всё глаже, тише,
где ж ё-моё, ядрёна мать?!
Земляк такую хрень напишет,
что некогда и почитать.

Стирает время лица. Но не зря
рыдает Пётр, застыла тень Иуды.
И пробивается сознание оттуда:
–Попробуйте начать с нуля...

Ночные бабочки

Штопор, штрафная рота,
выживи или умри...
Как на фашистские дзоты,
падают на фонари.

Двуедино: башмаки и путь,
женская раздвоенная грудь,
свет и тень на старческом лице
и начало нового в конце.

Откройте бутылку и пейте
за смерть, за стихи, за отчизну.
Возможно, что там, после смерти,
не помнят стихи о жизни.

В грозовой темноте звёздный крест,
кто-то снялся, свалился, воскрес.
Крест, проклятьем ли, взглядом забит
в пуп Вселенной... Пускай поболит.

Да Винчи безбожник
да праведник Босх...
Мир, в сущности, множат
секс, зеркало, бог.

Себе, рождённому в 45-м
С войны вернулся командир,
посмертный орден у соседа.
Страна тиха, как монастырь.
Рожайте, женщины. Победа.

Сон жизнью, жизнь была войной,
был сладок спирт перед атакой,
и мы блевали под стеной
расписанного в дым Рейхстага.

Он видел смерть, за ней не видел бога.
В кисельных берегах кисельный тлен
(в деталях уточнит за бытия порогом).
Когда работал в морге. Готфрид Бенн.

Мир полнится, течёт, растёт,
ломает неба край.
Тому – свечу, тому – свисток,
бог не умеет брать.

Марина Цветаева. Проявление

Жизнь, смерть, поэзия, любовь –
так быстро проговорено устами,
что горло вскрыла, расплескала кровь,
слегка соприкоснувшись словом с нами.

Матернулся бог, упала молния,
тушь стекла с вороньего пера.
Вычислили, вычистили, вспомнили...
Без вещей и сухарей. Пора...

Какой-то злой и умный бог
дал разум нам и сердце птичье,
чтоб нашу мерзость от величия
сам дьявол отличить не мог.

Крутая туча над испугом дня,
за Мерседесом листья волочатся.
Как мало марта... Как немного счастья...
Пока мы здесь, не потеряй меня.

Разрушил мир за пять реальных дней,
свет погасил, нет бога кроме бога.
Всё. Больше никаких затей.
Свернул сигарку, курит на пороге.

Одиноки дни поэтов,
кофе, водка, сигареты...
Береги их на том свете,
ангел жизни, ангел смерти.

Ты хотел бессмертия, Сизиф?
Вот тебе гора и камень,
вскатывай его наверх веками.
Ты – движение, всё остальное – миф.

Выломали ножки, выкрутили ручки,
глазёнки выжгли о прошлом воскресенье.
Молится боженька о спасении
в изоляторе сучьем.

Уходя, оглянись:

глина свежая, дождь,
равнодушная ложь...
Уходя, торопись.

Уже цветёт черешня, зреет слива,
в печи трещит горючий антрацит.
Пишу быстрее, живу нетерпеливей,
и родина, как мусорка, коптит.

Ещё не ночь и далеко до Бога,
но стены бледны, дверь открыта,
ты весь раскрыт, уже в тебе она.
Ещё она не перешла порогу.

Писал воистину и в глину,
писал супротив и во имя.
Теперь я ваш. Теперь пускай текут
мои слова из ваших глаз и ух.

Вот и птицы очистили низкое небо,
сад молитвами, господи, жив кое-как,
не засни на ветру, кто б ты ни был.

Дверь открыта и к вечности тянет сквозняк.

Деревья падают,
ковры съедают пыль,
мой друг, не правда ли,
я тоже буду был?

Карман и портмоне, жена, семья,

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.